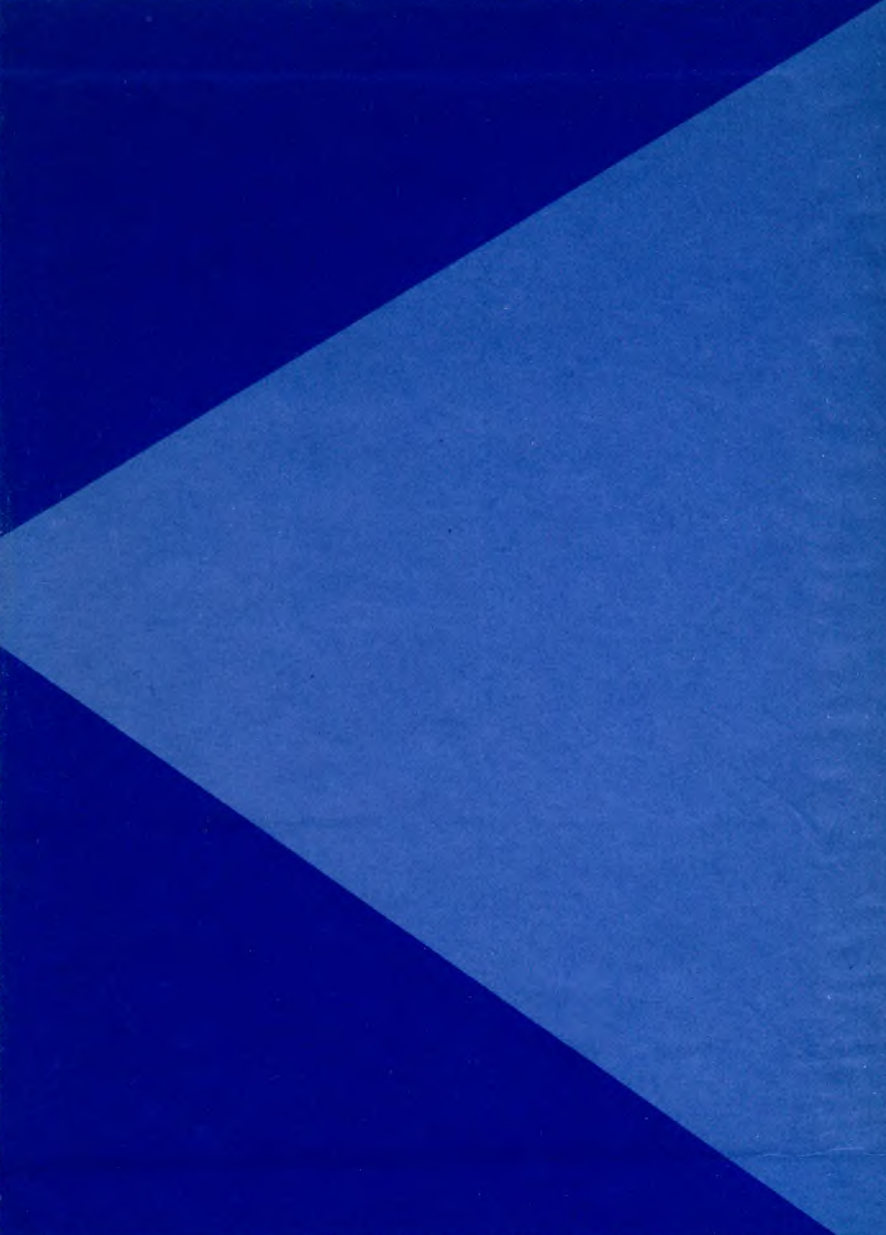


**БОРИС
СЛУЦКИЙ**

**ВРЕМЯ
МОИХ
РОВЕС-
НИКОВ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКИЙ
ДИПЛОМАТ»



**БОРИС
СЛУЦКИЙ**
ВРЕМЯ
МОИХ
РОВЕС-
НИКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977

P2
C49

Художник
В. АНДРЕЕНКОВ

70803—502
С—————274—77
М101(03)77

© Состав. Статья. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.

БОРИС СЛУЦКИЙ

Когда началась Великая Отечественная война, на фронт уходили и поэты. Разных поколений. И седые ветераны гражданской, и та интеллигенция, которая представляла нашу советскую культуру в 30-е годы, выйдя из институтов, придя с заводов и сел. Многие были молоды. Они были неопытны в жизни, в военном искусстве, но уже заявили о себе в поэзии — талантливо, патриотично... Среди них был и Борис Слуцкий, двадцатидвухлетний харьковчанин, студент московского Литературного института имени Горького. Уже в июле доброволец Слуцкий был тяжело ранен, после госпиталей, переформировки участвовал в битве под Москвой, воевал на Южном фронте, прошел пешком с войсками всю Украину — от Купянска до Молдавии, воевал на Балканах. Замполит батальона, потом — начальник группы по работе среди войск противника, майор Б. Слуцкий закончил войну в Австрии.

Он поздно начал писать стихи и писал их с большими перерывами. Огромная требовательность к себе заставила Слуцкого не торопиться с публикацией. Я помню (тогда я работал в «Литгазете»), как мы впервые напечатали стихи Б. Слуцкого. В 1957 году поэт доверил мне составить и его первую книгу стихов — «Память» и быть ее редактором.

Хотя первая книга и вышла поздно, она сразу же заставила говорить об авторе. Борис Слуцкий встал в ряды зрелых серьезных поэтов твердо и определенно. Его стихи поразили суровой прямотой и определенностью позиции, резким «наведением на фокус». Его картины войны (война была главным объектом его внимания в первой книге, остается важным слагаемым опыта и в последующих) подкупали документальной

точностью, пронзительным чувством правды. Герой Слуцкого — человек из народа, сам народ. Поэт в понимании Слуцкого — прежде всего человек чести, долга. Потому его выводы о жизни так категоричны, ясны, недвусмысленны. Они твердо стоят на почве реальных интересов людей, подлинных конфликтов. Эстетика Слуцкого — эстетика документа, факта. Сторонники лирики отвлеченной, занятой переживаниями, оттенками неясных чувств, поэзию Б. Слуцкого не воспринимают. А сам Б. Слуцкий нередко полемически подчеркивает свое неприятие «красивостей», банальностей, поэмы.

Героическое не оторвано от главного — гуманизма. В его стихотворении «Памятник» до конца торжествует идея подчинения человека долгу, но, не снижая темы «гранита», темы вечной памяти о подвиге, он постоянно помнит и о том, что памятники отливают по живым меркам, что

... стал я гранитным,

а был я живым, —

как говорит его герой в своем посмертном монологе. В поэзии Б. Слуцкого война, военная тема получила новый объем и глубину.

«Он умеет осознать то, что другие только предчувствуют», — сказал о поэте Илья Эренбург. Действительно, в стихах Слуцкого многое как бы сказано впервые в поэзии. Так, «физики и лирики» — крылатое выражение поэта стало поговоркой, вошло в быт именно потому, что в нем соединилось в формуле одно из основных для нашего века технической революции противоречий — между триумфальным размахом научной деятельности и относительно устойчивым миром души. Но не вечные духовные ценности подвергаются тут сомнению, даже не сама лирика, а приблизительное, неточное знание человека искусством. То «величие», которое «степенно отступает в логарифмы», то есть в точные знания, требует от художника такого же полного, глубокого знания души человека... Не защищать лирику от трезвости и вьедливости се-

годняшнего читателя зовет поэт, а понять духовные запросы современника.

Когда-то Гоголь сказал, что «верховная трезвость ума» есть характеристическая черта русской поэзии. Это определение очень точно покрывает смысл индивидуальности Слуцкого. Его стихи ощущаются «прозаическими» не только по форме — почти всегда разговорной, по ритму — часто резкому и не гладкому, по манере доказательств — не по-стихотворному «логической», но и по самому подходу к теме. А между тем такая поэзия — прямо выражающая новое в нашем опыте — очень современна, с одной стороны, и, если вдуматься, глубоко традиционна. Ее связывает с самыми благородными традициями русской поэзии прошлого одно, но решающее качество — существенность. Поэтическая мысль в стихах «Лошади в океане», «Школа для взрослых», «На выставке детских рисунков», «Перевозу с монгольского и польского. . .», «Перерыв» и многих других полна общего серьезного содержания. Это кажется уже не стихами, а самой жизнью:

И суровое наше сознание
Диктовало пути бытию.

Героической делает поэзию Слуцкого эта духовная стойкость, родная сестра убежденности в правое дело правды и справедливости.

Как художник Б. Слуцкий сильнее в темах драматических, конфликтных. Два своих избранных тома, в разные годы, он назвал одинаково: «Память». В этой памяти главное — Война. Но если военные стихи Слуцкого, рожденные там же, в огне, на передовой, и первые послевоенные выделялись своей достоверностью и вниманием к трудным проблемам военного быта и жизни души, осмыслением увиденного и пережитого, то сегодня поэт все чаще возвращается к теме памяти не для закрепления уже завоеванных поэтических плацдармов — он хочет проследить, как прошлое, в том числе и война, живет в нас, как в психологическом и историческом планах срастаются

понятия добра и истины, демократизма и коллективности, родины и человечества. Его стихи все более становятся историческими в самом высоком смысле этого слова.

Б. Слуцкий — один из лучших переводчиков. Его переводы Неруды, Хикмета, Межелайтиса и многих других поэтов проникнуты чувством высокой солидарности, интернациональной дружбы:

Работаю с неслыханной охотою
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотою,
Взрывающей валы между народами. . .

Пучины розни разделяют страны.
Дорога нелегка и далека.

Перевожу,
как через океаны,

Поэзию
в язык
из языка.

В стихотворении «Толпа на Театральной площади» поэт выразил свое преклонение перед силой, умом, нравственной готовностью к альтруизму, которыми наделен народ, «хозяин и кормилец», создатель всех духовных и материальных ценностей. В книгах «Сегодня и вчера» (1961), «Работа» (1964), «Память» (1969), «Современные истории» (1969), «Часовая стрелка» (1971) Слуцкий расширяет и углубляет понимание народа, вводит в него всё новые краски и акценты. О чем бы он ни писал — знает, нельзя оторваться от Родины. Поэт жив кровной связью с народом:

Я из него действительно не вышел.
Вошел в него —
И стал ему родным.

Владимир Огнев





Гримасу лица, искаженного криком,
Расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным,
а был я живым.

Расту из хребта,
как вершина хребта.
И выше вершин
над землей вырастаю.
И ниже меня остается крутая,
не взятая мною в бою
высота.

Здесь скалы
от имени камня стоят.
Здесь сокол
от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
Который Советский Союз представляет.

От имени родины здесь я стою
И кутаю тучей ушанку свою!

Отсюда мне ясные дали видны —
Просторы
освобожденной страны,

Где графские земли
вручал
батракам я,
Где тюрьмы раскрыл,
где голодных кормил,

Где в скалах не сыщется
малого камня,
Которого б кровью своей не кропил.
Стою над землей
как пример и маяк.

И в этом
посмертная
служба
моя.



СОН

Утро брезжит,
а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале
в углу.
Я еще молодой и рыжий,
Мне легко
на твердом полу.
Еще волосы не поседели
И товарищей милых
ряды
Не стеснились, не поредели
От победы
и от беды.
Засыпаю, а это значит:
Засыпает меня, как песок,
Сон, который вчера был
начат,
Но остался большой кусок.

Вот я вижу себя в каптерке,
А над ней снаряды снуют.

ДЕСАНТ

Резервы сидели во рву
и слышали гул переправы.
Над ними неспешно росли
высокие вешние травы.
Курить было запрещено,
беседовать не разрешалось,
но многое было дано:
остались и совесть и жалость.
А мысли толпились у них,
как рядышком роты толпились,
которые в берег вцепились
на этих лугах заливных.

Так что же за те два часа
прошло сквозь сознание десанта?
Какие гремели куранты?
Нашептывали голоса?
Какие обеты даны?
Какие познания скопили?
Казалось, не сыщешь вины,
которой бы не искупили.

Безгрешные, как синева
небесная,
 чище рассвета,
все те, кто прожил эти два
часа,
 дотерпел до ракеты,
шагнули вперед. На весы
истории
 грузно упали.
И снова окопы копали
и утренней ждали росы.



ВОЕННЫЙ УЮТ

На войну билеты не берут,
на войне романы не читают,
на войне болезни не считают,
но уют возможный создают.

Печка в блиндаже, сковорода,
сто законных грамм,
кусочек колбаски,
анекдоты, байки и побаски.
Горе — не беда!

— Кто нам запретит роскошно жить? —
говорит комвзвода,
вычерпавший воду
из сырого блиндажа. —
Жизнь, по сути дела, хороша!

— Кто мешает нам роскошно жить? —
Он плеснул бензину в печку-бочку,
спичку вытащил из коробочка,
хочет самокрутку раскурить.

Если доживет — после войны
кем он станет?

Что его обяжут и заставят
делать?

А куда — хоть бы хны.

А пока за целый километр
Западного фронта
держит он немедленный ответ
перед Родиной и командиром роты.

А пока за тридцать человек
спросит, если что, и мир и век
не с кого-нибудь — с комвзвода,
только что повыплеснувшего воду
из сырого блиндажа.

Жизнь, по сути дела, хороша.
Двадцать два ему, из них на фронте — два,
два, похожих на два века года,
дорога и далека Москва,
в повзрослевшем только что,
едва,
сердце — полная свобода.



СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

**С первой попытки брал барьер,
прыгал с места, а не с разгона,
дерзкий, сторожкий, как дипкурьер
в купе трансбалканского вагона.**

**В звонкую форму свою влитой,
в памяти он выступает снова:
шел, будто чувствовал под пятой
выпуклость, круглость шара земного.**

**Поворачивался и трещал
новыми кожаными ремнями,
взглядом миры и миры обещал,
мы на него себя равняли.**

**Где-то меж старой и новой границей
горсточка праха его хранится.
Там он убит и в глину зарыт
и торопливо оплакан навзрыд.**

«ЕСТЬ!»

Я не раз, и не два, и не двадцать
слышал, как посылают на смерть,
слышал, как на приказ собираться
отвечают коротеньким «Есть!».

«Есть!» — в ушах односложно звучало,
долгим эхом звучало в ушах,
подводило черту и кончало:
человек делал шаг.

Но ни разу про Долг и про Веру,
про Отечество, Совесть и Честь
ни солдаты и ни офицеры
не добавили к этому «Есть!».

С неболтливym сознанием долга,
молча помня Отчизну свою,
жили славно, счастливо и долго
или вмиг погибали в бою.

В БАТАЛЬОНЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ

Мне было холодно. Мне было голодно.
Мне слишком тяжкими казались
труды.

Мне было спать на соломе — колотно.
Мне было трудно жить — от беды.

Беда. И вот в голодной казарме я
Куска без мысли сжевать не мог,
Что я и вся огромная армия
Не заробили себе на паек.

Я был в запасной, в ту пору, части.
Мне скоро было на фронт уходить.
И я собирался погибнуть с честью,
А нужно было желать победить.

Люди кругом — мои товарищи —
Решили выяснить, почему
Я день-деньской по траве,
скрывающей

Землю, мечусь?
И что — не пойму?

Самый что ни на есть перераненный
Летчик, упавший с небес живым,
Сказал, что мы победим не ранее
Того, когда победить решим.

Сказал — народа у нас побольше.
Сказал — идеи у нас милей.
И мы вернемся — от Волги к Польше,
Но только надо быть веселей.

Он говорил, а я помалкивал.
Помалкивал и смущенно помаргивал,
Но, в общем, этот политразговор —
Во мне.

С тех пор и — до сих пор.

Словно крошки с табачным сором,
Вытряхнулись печаль и беда.
Я повеселел. И стал — веселым.
И не грустил с тех пор никогда.



ГОРА

Ни тучки. С утра — погода.
И, значит, снова тревоги.
Октябрь 41-го года.
Неспешно плывем по Волге.
Раненые, больные,
Едущие на поправку,
Кроме того, запасные,
Едущие на формировку.
Я вместе с ними еду,
Имею рану и справку,
Талоны на три обеда,
Мешок, а в мешке литровку.
Радио — черное блюдце —
Тоскливо рычит несчастья:
Опять города сдаются,
Опять отступают части.
Кровью бинты промокли.
Глотку сжимает ворот.
Стихли все мы, примолкли.
Но — подплывает город:
Улицы ветром продуты,
Рельсы звенят под трамваем, —
Здесь погрузим продукты.

Вот к горе подплываем.
Гора печеного хлеба
Вздымала рыжие ребра,
Тянула вершину к небу,
Глядела разумно, добро,
Глядела достойно, мудро,
Как будто на все отвечала.
И хмурое, зябкое утро
Тихонько ее освещало.
К ней подъезжали танки,
К ней подходила пехота,
И погружали буханки.
Целые пароходы
Брали с собой, бывало.
Гора же — не убывала.
И снова высила к небу
Свои пеклеванные ребра,
Без жадности и без гнева.
Спокойно. Разумно. Добро.

Не быть стране под врагами,
А быть ей доброй и вольной,
Покуда пшеница с нами,
Покуда хлеба довольно,
Пока, от себя отрывая
Последние меры хлеба,
Бабы пекут караван
И громоздят их — до неба!

КАК МЕНЯ ПРИНИМАЛИ В ПАРТИЮ

Я засветло ушел в политотдел
И за полночь добрался до развалин,
Где он располагался. Посидел,
Газеты поглядел. Потом — позвали.

О нашей жизни и о смерти
мыслящая,
Все знающая о добре и зле,
Бригадная партийная комиссия
Сидела прямо на сырой земле.

Один спросил:

— Не сдрейфишь?

Не сбрешешь?

— Не струсит, не солжет, —

другой сказал.

А лунный свет, валивший через бреши,
Светить свече усердно помогал.

И немцы пять снарядов перегнали,
И кто-то крикнул про житье-бытье,

КЕЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
 безмолвно и дерзновенно,
Мрем с голодухи
 в Кельнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.
Раз в день
 на площадь
 выводят, лошадь,
Живую
 сталкивают с обрыва.

И вот она свергается в яму
И мы ее делим на доли
 неравно,
И мы по конине молотим зубами, —
О бюргеры Кельна,
 да будет вам срамно!

О граждане Кельна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
Когда, зеленее, чем медный пятак,
Мы в Кельнской яме
с голоду выли?

Собрав свои последние силы,
Мы выскребли надпись на стенке
отвесной,
Короткую надпись над нашей
могилой —
Письмо
солдату Страны Советской:

«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми
костями.

Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за Родину в Кельнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу,
ни шагу...»

Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!

А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство
слабым.

О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладоней выев,
Кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,
скребем ногтями,
Стоном стонем
в Кельнской яме,
Но все остается — как было, как было! —
Каша с вами, души — с нами.



Четыре Украинских фронта,
Три Белорусских фронта,
Три Прибалтийских фронта,
Все остальные фронты
Повзводно,
Побатарейно,
Побатальонно,
Поротно —
Все получают памятники особенной
красоты.
А камни для этих статуй тесали кто?
Писаря.
Бензиновые коптилки
неярким светом светили
На листики из блокнотов, где,
попросту говоря,
Закладывались основы
литературного стиля.
Полкилометра от смерти —
таков был глубокий тыл.
В котором работал писарь.
Это ему не мешало.
Он, согласно инструкций,
в точных словах воплотил
Все, что, согласно инструкций,
ему воплотить надлежало.
Если ефрейтор Сидоров был ранен
в честном бою

МОИ ТОВАРИЩИ

Сгорели в танках мои товарищи
До пепла, до золы, дотла.
Трава, полмира покрывающая,
Из них, конечно, проросла.
Мои товарищи

на минах

Подорвались,

взлетели ввысь,

И много звезд, далеких, мирных,

Из них,

моих друзей,

зажглись.

Про них рассказывают

в праздники,

Показывают их в кино,

И однокурсники и одноклассники

Стихами стали уже давно.



ЗАДАЧА

— Подобрать троих для операции! —
Вызвалось пятнадцать человек.

Как тут быть,

на что тут опираться?

Ошибешься — не простят вовек.

Офицер из отделенья кадров,

До раненья ротный политрук,

Посадил охотников под карту

И не сводит глаз с дубленных рук.

Вот сидят они,

двадцатилетние,

Теребят свои пилотки летние

В зимних,

в обмороженных руках.

Что прочтешь в опущенных глазах?

Вот сидят они,

благоразумные,

Тихие и смирные сверх смет,

Выбравшие верную, обдуманную,

Многое решающую

смерть.

РОМАН ТОЛСТОГО

Нас привезли, перевязали,
Суть сводки нам пересказали.
Теперь у нас надолго нету дома.
Дом так же отдален, как мир.
Зато в палате есть четыре тома
Романа Толстого «Война и мир».

Роман Толстого в эти времена
Перечитала вся страна.
В госпиталях и в блиндажах военных,
Для всех гражданских и для всех
военных
Он самый главный был роман,
любимый:
В него мы отступали из войны.
Своею стойкостью непобедимый,
Он обучал, какими быть должны.

Роман Толстого в эти времена
Страна до дыр глубоких залистала.
Мне кажется, сама собою стала,
Глядясь в него, как в зеркало, она.

Не знаю, что б на то сказал Толстой,
Но добродушье и великодушье
Мы сочетали с формулой простой:
Душить врага до полного удушья.
Любили по Толстому; по нему,
Одoleвая смертную истому,
Докапывались, как и почему,
И воевали тоже по Толстому.

Из четырех томов его

косил

На Гитлера

фельдмаршал престарелый

И, не щадя умения и сил,

Устраивал засады и обстрелы.

С привычкой славной

вылущить зерно

Практического

перечли со вкусом

Роман. Толстого знали мы давно.

Теперь он стал победы

кратким курсом.



ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» — по-русски — значит
«Слава», —
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем
гордый,
Океан стараясь превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далеко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотях?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.



КРОПОВО

Кроме крыши рейхстага, Брянских лесов,
севастопольской канонады,
есть фронты, не подавшие голосов.
Эти тоже выслушать надо.
Очень многие знают, где оно,
безымянное Бородино:
Это — Кропотово, возле Ржева,
от дороги свернуть налево.
Там домов не более двадцати
было.

Сколько осталось — не знаю.
У советской огромной земли — в груди
то село, словно рана сквозная.
Стопроцентно выбыли политруки.
Девяносто пять — командиры.
И село (головешки да угольки)
из рук в руки переходило.
А медали за Кропотово нет? Нет.
За него не давали медали.
Я пишу, а сейчас там, конечно, рассвет
и ржаные желтые дали,
и, наверно, комбайн идет по ржи
или трактор пни корчует,
и свободно проходят все рубежи,
и не знают, не слышат, не чуют.

КАЗАХИ ПОД МОЖАЙСКОМ

**С непривычки трудно на фронте,
А казаху трудно вдвойне:
С непривычки ко взводу, к роте,
К танку, к пушке, ко всей войне.**

**Шли машины, теснились моторы,
А казахи знали просторы,
И отары, и тишь, и степь.
А война полыхала домной,
Грохотала, как цех огромный,
Била, как железная цепь.**

**Но врожденное чувство чести
Удержало казахов на месте.
В Подмоскowie в большую пургу
Не сдавали рубеж врагу.**

**Постепенно привыкли к стали,
К гроыханию и к огню.
Пастухи металлистами стали.
Становились семь раз на дню.**

**Механизмы ее освоили
Степные, южные воины,
А достоинство и джигитство
Принесли в снега и леса,
Где тогда громыхала битва,
Огнедышащая полоса.**



ПЕРЕПРАВА

Не помеченные на карте
и текущие так, зазря,
подмосковные речки в марте
разливаются в полуморя.

Ледяная, убивающая
снеговая вода,
с каждым часом прибывающая,
заливает пойму тогда.

Это все на неделю, на две,
а потом все схлынет, уйдет.
Ну, а две недели
разве
так легко прожить, пережить!

В эти самые две недели
в марте, в 42-м году,
на меня вещмешок надели.
Я сказал: «Сейчас пойду».

Дали мне лошаденку: квелая,
рыжая. Рыжей меня.
И сказали кличку: «Веселая».
И послали в зону огня.

Злой, отчаянный и голодный,
до ушей в ледовитом огне,
подмосковную речку холодную
переплыл я тогда на коне.

Мне рассказывали: простудился
конь

и до сих пор хрипит.

Я же в тот раз постыдился
в медсанбат отнести свой бронхит.

Было больше гораздо спросу
в ту войну с людей, чем с коней,
и казалось, не было сносу
нам

и не было нас сильней.

Жили мы без простудной дрожи,
словно предки в старину,
а болеть мы стали позже,
когда выиграли войну.



ЗАМПОЛИТ

**Замполит — заместитель по бодрости,
если что-нибудь заболит.**

**А еще: по славе и гордости
заместитель — замполит.**

**Ордена государство навесило
и пришло погоны мне,
чтобы было бодро-весело
на большой, многолетней войне.**

**То советующий, то приказывающий —
забирающий в оборот,
я был стрелкой всегда указывающей:
«На Берлин! На Запад! Вперед!»**

**Дотом веры, надежды дотом
я по всей войне проходил.
Был про Гитлера — анекдотом,
если выделили «Крокодил».**

**Был приказом, песней, советом,
принесенным к бойцу письмецом.**

**Был начальником, но при этом
был товарищем и отцом.**

**Ежедневно старался бриться,
был опрятен, тверд и толков.
А в плену до единого фрицы
убивали политруков.**



Прошел он,
эту справку сжав,
К своей груди
прижав.
Из бдительности
ежедневно
Его подробнейше допрашивали.
Из сердобольности
душевной
Кормили кашею
трехразовую.
Он шел и шел за наступлением
И ждал без всякого волнения
Допроса,
а затем обеда,
Справку
загодя
показывая.

До самой итальянской родины
Дорога минами испорчена.
За каждый шаг,
им к дому пройденный,
Сполна
солдатской кровью
плочено.
Он шел по танковому следу,
Прикрыт броней.

ОДНОФАМИЛЕЦ

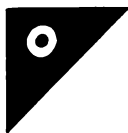
В рабочем городке Солнечногорске,
В полсотне километров от Москвы,
Я подобрал песка сырого горстку —
Руками выбрал из густой травы.

А той травой могила поросла,
А та могила называлась братской.
Их много на шоссе на Ленинградском,
И на других шоссе их без числа.
Среди фамилий, врезанных в гранит,
Я отыскал свое простое имя.
Все буквы — семь, что памятник
хранит,
Предстали пред глазами пред моими.

Все буквы — семь — сходились у нас,
И в метриках и в паспорте сходились,
И если б я лежал в земле сейчас,
Все те же семь бы надо мной
светились.

Но пули пели мимо — не попали,
Но бомбы облетели стороной,
Но без вести товарищи пропали,
А я вернулся. Целый и живой.

Я в жизни ни о чем таком не думал.
Я перед всеми прав, не виноват,
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
Лежит с моей фамилией солдат.



СЛАВА САПЕРОВ

**«Разминировал». Подпись. Число.
Надпись мелом в гранит переводят
и саперных частей ремесло
навсегда в историю вводят.**

**Мел в новейшее время сумел
не осыпаться. Закрепиться.
Не найти в целом мире тряпицы,
чтоб стереть, истребить этот мел!**

**И сапер, специальность свою
клявший в четырехлетнем бою,
на болота, на зной, на потемки
смотрит вдруг глазами потомка.**

Я говорил от имени России,
Ее уполномочен правотой,
Чтоб излагать с достойной полнотой
Ее приказов формулы простые.
Я был политработником. Три года —
Сорок второй и два еще потом.

Политработа — трудная работа.
Работали ее таким путем:
Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад

в бою,

Перед голодными,

перед холодными.

Голодный и холодный.

Так!

Стою.

Им хлеб не выдан,

им патрон недо дано.

Который день поспать им не дают.

И я напоминаю им про родину.

Молчат. Поют. И в новый бой идут.
Все то, что в письмах им писали
из дому,
Все то, что в песнях с их судьбой
сплелось,
Все это снова, заново и сызнова,
Коротким словом — родина — звалось.
Я этот день,
Вспоминанье это,
Как справку,
собираюсь предъявить,
Затем,
чтоб в новой должности — поэта —
От имени России
говорить.



МАРШАЛ ТОЛБУХИН

У маршала Толбухина в войсках
Ценили мысль и сметку, чтоб стучала,
И наливалась силою в висках,
И вслед за тем победу источала.

Сам старый маршал, грузный и седой,
Интеллигент, пусть в первом поколенье,
Любил калить до белого каленья
Батальных размыслов железный строй.

То латы новые изобретет
И производство панцирей наладит,
И этим утюгом по шву прогладит
Врагов. Сметет и двинется вперед.

То учредит подводную пехоту,
Которая проходит дном речным
И начинает страшную охоту
На немца,
вдруг возникши перед ним.

Водительство полков
не ремеслом
Считал Толбухин,
а наукой точной.

ДЕВЯТОГО МАЯ 1945 ГОДА

Земля качнулась.
Что-то кончилось.
А что-то снова началось,
пока в планетной плоти корчилась,
ворочалась земная ось.
Земля качнулась — и очнулась,
и улыбнулась людям.
Солдат сказал: — Война загнулась.
Теперь мы долго воевать не будем. —
Солдат сказал: — Домой поедем
и вещмешки с собой возьмем.
Жене, и детям, и соседям
подарки привезем. —
Солдат сказал: — Прощай, война!
Мне сорок семь.
Я был на двух.
Настали мира времена.
Переведу я дух. —
Солдат побрился и помылся,
духами пахнет голова,
и к мирной жизни устремился
на поезде Берлин — Москва.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АЛЬПАХ

Четыре верблюда на улицах Граца!
Да как же они расстарались добраться
до Альп

из родимой Алма-Аты!

Да где же повозочных порастеряли?
А сколько они превзошли расстояний,
покуда дошли до такой высоты!

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда,
худые и гордые звери идут.

А впрочем,

я никогда не поверю,
что эти верблюды действительно звери.
Достоин иного прозвания верблюд.

Дивизия шла на верблюжеской тяге:
арбы или пушки везли работяги,
двугорбые, смирные, добрые,
покорные, гордые, бодрые.

Их было, наверное, двести четыре,
а может быть, даже и триста четыре,

но всех перебили,
и только четыре
до горного города Граца дошли.
А сколько добра привезли они людям!
Об этом распространяться не будем,
но мы никогда,

никогда

не забудем

верблюдов из казахстанской земли.

В каком-то величье,
в каком-то прискорбье,
загадочно-тихие, как гороскоп,
верблюды

проходят
сквозь шум городской.

И белые Альпы видны в междугорбье.

Вдоль рельсов трамвайных проходит верблюд,
трамваи гурьбой за арбою идут.

Повозочный старенький дремлет в арбе,
верблюду кричит, как быку: «Цоб-цобе!»
Усталый, в шинельку закутанный,

дремлет.

Покая добился в суровой борьбе,
трамвай потревожить верблюда не смеет.

Неспешность

приходится

извинить.

Трамвай не решается позвонить.
Целая очередь грацких трамваев
стоит,
 если тянется морда к кустам,
стоит,
 пока был по листку обрываем
возросший у рельс превосходный каштан.

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда.



Он Девятого мая пораньше встал,
привинтил ордена, а медали
приколол

и за пивом в очередь стал.

Вспоминает года и дали.

Вспоминает бои в родной стороне
и бои на чужой планете.

Догадавшийся,

как победить на войне,
понимает он все на свете.



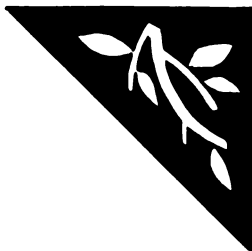
Они за рабочий народ
Полвека уже выступают —
Поют, говорят, убеждают.
Устали — ну что же!

И вот

Весь зал в эту песню вступает.
Мы, как по сигналу,

встаем

И старую песню поем.



МАЛЬЧИШКИ

Все спали в доме отдыха,
Весь день — с утра до вечера,
По той простой причине,
Что делать было нечего.
За всю войну впервые,
За детство в первый раз
Им делать было нечего —
Спи
хоть день, хоть час!

Все спали в доме отдыха
Ремесленных училищ.
Все спали и не встали бы,
Хоть что бы ни случилось.
Они войну закончили
Победой над врагом,
Мальчишки из училища,
Фуражки с козырьком.

Мальчишки в форме ношеной,
Шестого срока минимум,

Они из всей истории
Учили подвиг Минина
И отдали отечеству
Не злато-серебро —
Единственное детство,
Все свое добро.

На длинных подоконниках
Цветут цветы бумажные.
По выбеленным комнатам
Проходят сестры важные.
Идут неслышной поступью.
Торжественно молчат:

Смежив глаза суровые,
Здесь,
 рядом,
 дети спят.



ПАМЯТЬ

Я носил ордена.
После — планки носил.
После — просто следы этих планок носил,
А потом гимнастерку до дыр износил
И надел заурядный пиджак.

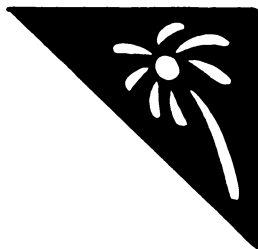
А вдова Ковалева все помнит о нем,
И дорожки от слез — это память о нем,
Столько лет не забудет никак!

И не надо ходить. И нельзя не пойти.
Я иду. Покупаю букет по пути.

Ковалева Мария Петровна, вдова,
Говорит мне у входа слова.

Ковалевой Марии Петровне в ответ
Говорю на пороге: — Привет! —
Я сажусь, постаравшись к портрету —
спиной,
Но бессменно висит надо мной

Муж Марии Петровны,
Мой друг Ковалев,
Не убитый еще, жив-здоров.
В глянцевитый стакан наливается чай.
А потом выпивается чай. Невзначай.
Я сижу за столом,
Я в глаза ей смотрю,
Я пристойно шучу и острою.
Я советы толково и веско даю —
У двух глаз,
У двух бездн на краю.
И, утешив Марию Петровну как мог,
Ухожу за порог.



БАНЯ

Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
 как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких
 спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчеркали
 война
 и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я

Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний

матрос

Лиловые татуировки
В наш сухопутный край

занес.

Там я, волнуясь и ликуя,

Читал,

забыв о кипятке:

«Мы не оставим мать родную!» —

У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянную стеной.

Там чувство острого блаженства

Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.

Там

с поднятою головой

Несет портной свои мозоли,

Свои ожоги — горновой.

Но бедствий и сражений годы

Согнуть и сгорбить не смогли

Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане
парились иль нет?
Там два рубля любой билет.



Вот мальчики бегут и девочки,
Опаздывают на занятия.
О, как желает счастья деточкам
Та, что не будет больше матерью!

Вот гармонисты гомон подняли,
И на скрипучих досках клуба
Танцуют эти вдовы. По двое.
Что, глупо, скажете? Не глупо!

Их пары птицами взвиваются,
Сияют утреннею зорькою,
И только сердце разрывается
От этого веселья горького.



ПЕРЕРЫВ

На строительстве был перерыв —
Целый час на обед и на роздых.
Полземли прокопав и прорыв,
Выбегали девчата на воздух.
Покупали в киоске батон,
Разбивали арбуз непочатый.
Это полперерыва. Потом
Полчаса танцевали девчата.

Патефон захрипел и ослаб,
Дребезжа перержавленной жостью, —
И за это покрыт был прораб
Мелодической руганью женской.

Репродуктор эфир начинал
Популярнейших песен словами.
Если диктор статью начинал,
Так они под статью танцевали.
Под звонок, под свисток, под гудок —
Лишь бы ноги ритмично ходили.
А потом отошли в холодок,

Посидели, все обсудили
И, косынками косы накрыв,
На работу —
по сходням
дощатым!
Вот как много успели девчата
За обеденный перерыв!



ПОДВОДНАЯ ЛОДКА № ...

Равенство в еде и в тесноте,
в норме хлеба, в пайке воздуха,
в круглосуточной,
 почти без роздыха,
каждодневной суете.

Лодка погибает вся и сразу,
офицеры и матросы вместе.
Равенство пред жизнью и пред смертью —
ради дела, а не ради фразы.
Очень развитой народ,
точно понимающий задачи;
знающий про кислород
и по книге и по недостатке;
изучающий углекислоту
по учебнику, по преизбытку,
а давление и высоту —
как попытку и как пытку.
Шутят все. С утра до вечера.
Знают, что без шутки пропадешь,
но следят, чтоб выходило вежливо,
без
 грязнящих самолюбие подошв.

Крепко, каменно сжимают руку,
взглядами прямыми пламеня,
и читают Пушкина друг другу,
что приятно

очень

для меня.



**Столица нашей Родины — Москва,
Столица той земли, где я родился,
Где я укоренился, утвердился,
И это вовсе не слова.**

**Нет, это и слова, тот говорок,
Арбатский, мхатовский, замоскворецкий,
Изысканно-лукавый, как дворецкий.
Тот говорок, где суть промежду строк.**

**Но если надо, режет: «Нет!» и «Да!»
И голой правдой отношенья мерит
Москва, которая слезам не верит,
Кому победа, а кому беда.**

**Кому беда. Кому и плач в ночи
И долгие, ночные спичек вспышки,
Кому, как говорилось, калачи,
Кому же синяки и шишки.**

**А в общем нету места на земле,
Где лучше бы писалось
и работалось,**

Точней, чем здесь.

**Где время позаботилось,
Чтоб мне светило во вселенской мгле.**

ПОСЛЕВОЕННОЕ БЕСПТИЧЬЕ

Оттрепетали те тетерева,
перепелов война испепелила.
Безгласные, немые деревья
в лесах от Сталинграда до Берлина.

В щелях, в окопах выжил человек,
зверье в своих берлогах уцелело,
а птицы все ушли куда-то вверх,
куда-то вправо и куда-то влево.

И лиственные не гласят леса,
и хвойные не рассуждают боры.
Пронзительные птичьи голоса
умолкли.

Смолкли птичьи разговоры.

И этого уже нельзя терпеть.
Полещуку бесптичье хуже казни.
О, если соловей не в силах петь —
ты, сойка, крикни
или ворон каркни!

И вдруг какой-то редкостный и робостный,
какой-то радостный,
забытый много лет назад звук:
какой-то «чок»,
какой-то «чок-чок-чок».

ЗАСУХА

Лето сорок шестого года.
Третий месяц жара, — погода.
Я в армейской больнице лежу
И на палые листья гляжу.

Листья желтые, листья палые
Ранним летом сулят беду.
По палате, словно по палубе,
Я, пошатываясь, бреду.

Душно мне.
Тошно мне.
Жарко мне.
Рань, рассвет, а такая жара!
За спиною шлепанцев шарканье,
У окна вся палата с утра.

Вся палата, вся больница,
Неумыта, нага, боса,
У окна спозаранку толпится,
Молча смотрит на небеса.

Вся палата, вся больница,
Вся моя большая земля
За свои посевы боится
И жалеет свои поля.

А жара все жарче.
Нет мочи.
Накаляется листьев медь.
Словно в танке танкисты,
молча

Принимают
 колосья
 смерть.
Реки, Гитлеру путь
 преграждавшие,
Обнажают песчаное дно.
Камыши, партизан скрывавшие,
Погибают с водой заодно.

... Кавалеры ордена Славы,
Украшающего халат,
На жару не находят управы
И такие слова говорят:

— Эта самая подлая засуха
Не сильней, не могучее нас,

Сапоги вытиравших насухо
О знамена врагов
 не раз.

Листья желтые, листья палые,
Не засыпать вам нашей земли!
Отходили мы, отступали мы,
А, глядишь, до Берлина дошли.

Так, волнуясь и угрожая,
Мы за утренней пайкой идем.
Прошлогодного урожая
Караван
 в руки берем.

Режем,
 гладим,
 пробуем,
 трогаем
Черный хлеб, милый хлеб,
 а потом —
Возвращаемся той же дорогой,
Чтоб стоять
 перед тем же окном.



ГУДКИ

Я рос в тени завода
И по гудку, как весь район, вставал —
Не на работу:

я был слишком мал —

В те годы было мне четыре года.
Но справа, слева, спереди — кругом
Ходил гудок. Он прорывался в дом,
Отца будя и маму поднимая.

А я вставал

И шел искать гудок, но за домами
Не находил:

Ведь я был слишком мал.

С тех пор, и до сих пор, и навсегда
Вошло в меня: к подъему ли, к обеду
Гудят гудки — порядок, не беда,
Гудок не вовремя — приносит беды.

Не вовремя в тот день гудел гудок,
Пронзительней обычного и резче,
И в первый раз какой-то странный,

вещий

Мне на сердце повеял холодок.

В дверь постучали, и сосед вошел,
И так сказал — я помню все до слова:
— Ведь Ленин помер. —

И присел за стол.

И не прибавил ничего другого.

Отец вставал,

садился,

вновь вставал.

Мать плакала,

склонясь над малышами.

А я был мал,

и что случилось с нами —

Не понимал.





Подо мною мороженщик с тачкою
белой,
До отказа набитою сладкой зимою.
Я спускаюсь к нему,
Подхожу, оробелый,
Я прошу посчитать эту вафлю за мною.
Если даст, если выдаст он вафлю —
я буду
Перетаскивать лед для него
хоть по пуду.

Если он не поверит,
Решит, что нечестен, —
Целый час я, наверное,
Буду несчастен.
Целый час быть несчастным —
Ведь это не шутки.
В часе столько минуток,
А в каждой минутке
Еще больше секунд.
И любую секунду
В этом часе, наверно,
Несчастливым я буду!

Но снимается с тачки блестящая
крышка,
И я слышу: «Бери
Ты хороший мальчишка!»

МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ

Я на медные деньги учился стихам,
На тяжелую, гулкую медь,
И набат этой меди с тех пор не стихал,
До сих пор продолжает греметь.
Мать, бывало, на булку дает мне пятак,
А позднее — и два пятака.
Я терпел до обеда и завтракал так,
Покупая книжонки с лотка.
Сахар вырос в цене или хлеб дорожал —
Дешевизною Пушкин зато поражал.
Полки в булочных часто бывали пусты,
А в читальнях ломились они
От стиха,
от безмерной его красоты.
Я в читальнях просиживал дни.
Весь квартал наш меня сумасшедшим
считал,
Потому что стихи на ходу я творил,
А потом на ходу, с выраженьем, читал,
А потом сам себе: «Хорошо!» — говорил.

Да, какую б тогда я ни плел чепуху,
Красота, словно в коконе, пряталась
в ней.

Я на медную мелочь
учился стиху.

На большие бумажки
учиться трудней.



18 ЛЕТ

Было полтора чемодана.
Да, не два, а полтора
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра,
Леденящая, вроде Алдана.
И еще — словарный запас,
Тот, что я на всю жизнь запас.
Да, просторное, как Семиречье,
Крепкое, как его казачье,
Громоносное просторечье,
Общее,
Ничье,
Но мое.

Было полтора костюма:
Пара брюк и два пиджака,
Но улыбка была — неприступна,
Но походка была — легка.

Было полторы баллады
Без особого склада и ладу.

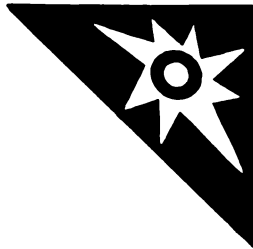
Было мне восемнадцать лет,
И — в Москву бесплацкартный билет
Залегал в сердцевине кармана,
И еще полтора чемодана
Шмуктов, барахла, добра
И огромная жажда добра.



ВТОРОЙ ЭТАЖ

Я жил над музыкальной школой,
Меня будил проворный, скорый,
Быстро-попешный перебряк:
То гармонисты, баянисты,
А также аккордеонисты
Гоняли гаммы так и сяк.
Позднее приходили скрипки,
Кларнет, гитара и рояль.
Весь день на звуке и на крике
Второй, жилой этаж стоял.
Все только музыки касалось —
Одной мелодии нагой,
И даже дом, как мне казалось,
Притопывает в такт ногой.
Он был проезжею дорогой —
Веселой, грязной и широкой,
Открытой настежь целый день
Для прущих к музыке людей.
Я помню их литые спины
И не забуду до конца
Замах рублевый кузнеца

Над белой костью пианино.
Как будто бы земля сама
На склоне лет брала уроки,
Гремели из дому грома,
Певцы ревели, как пророки,
А наш второй этаж, жилой,
Оглохнув от того вокала,
Лежал бесшумною золой
Над красным пламенем вулкана.



ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В те годы утром я учился сам,
А вечером преподавал историю
Для тех ее вершителей, которые
Историю вершили по утрам:
Для токарей, для слесарей, для
плотников,
Встававших в полшестого, до гудка,
Для государства нашего работников,
Для деятелей стройки и станка.

Я был и тощ и невысок, а взрослые —
Все на подбор, и крупные и рослые,
А все-таки они день ото дня
Все терпеливей слушали меня.
Работавшие день-деньской, усталые,
Они мне говорили иногда:
— Мы пожилые. Мы еще не старые.
Еще учиться не ушли года. —
Работавшие день-деньской, до вечера,
Карандашей огрызки очиня,

Они упорно, сумрачно и вежливо
И терпеливо слушали меня.

Я факты объяснял,

а точку зрения

Они, случалось, объясняли мне.

И столько ненависти и презрения

В ней было

к барам,

к Гитлеру,

к войне!

Локтями опершись

о подоконники,

Внимали мне,

морщина глыбы лбов,

Чапаева и Разина поклонники,

Сторонники

голодных и рабов.

А я гордился честным их усердием,

И сам я был

внимателен, как мог.

И радостно,

с открытым настежь сердцем,

Шагал из института на урок.



Тушат свет и выключают звуки.
Вся столица в сон погружена.
А ко мне протягивают руки
Сестры — Темнота и Тишина.

Спят мои товарищи по комнате,
Подложив под голову конспект,—
Чтобы то, что за день не запомнили,
За ночь все же выучить успеть.

Я прижался лбом к холодной раме,
Я застыл надолго у окна:
Никого и ничего меж нами,
Сестры — Темнота и Тишина.

До Луны — и то прямая линия,
Не сворачивая, долечу!
Сестры, Тихая и Темно-синяя,
Я стихи писать хочу!

Темнота покуда мне нужна еще:
На свету мне стыдно сочинять!

Сестры! Я студент, я начинающий,
Очень трудно рифмы подбирать.

... Вглядываюсь в темень терпеливо
И, пока глаза не заболят,
Жду концов — хороших и счастливых —
Для недавно начатых баллад.



ЕЛКА

Гимназической подруги
мамы

 стайка дочерей —
светятся в декабрьской вьюге,
словно блики фонарей.
Словно елочные свечи,
тонкие сияют плечи.

Затянувшуюся осень
только что зима смела.
Сколько лет нам? Девять? Восемь?
Елка первая светла.
Я задумчив, грустен, тих;
в нашей школе нет таких.

Как зовут их? Вика? Ника?
Как их радостно зовут!
— Мальчик, — говорят, — взгляни-ка!
— Мальчик, — говорят, — зовут! —
Я сгораю от румянца.
Что мне — плакать ли, смеяться?

— Шура, это твой? Большой.
Вспомнила, конечно. Боба. —
Я стою с пустой душой.
Душу выедаёт злоба.
Боба! Имечко! Позор!
Как терпел я до сих пор!

Миг спустя и я забыт.
Я забыт спустя мгновенье,
хоть меня еще знобит,
сводит от прикосновенья
тонких, легких детских рук, —
ввысь! —
подбрасывающих вдруг.

Я лечу, лечу, лечу,
не желаю опуститься,
я подарка не хочу,
я не требую гостинца,
только длились бы всегда
эти радость и беда.



ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ветер пролетающих поездов.
Звоны провисающих проводов.
Поезда летят.
Провода гудят.
Все как тридцать лет назад.

Видно, линии железных дорог
потревожить не собрался рок.
Поезда летят.
Провода гудят.
Это век сохранил, уберег.

Видимо, они еще нужны
для пейзажа и для всей страны.
Поезда летят.
Провода гудят.
Словно бы задолго до войны.

Почему-то стальное полотно
с юностью сопряжено.
Провода гудят — обо мне.
Поезда летят — все ко мне,
как гудели и летели так давно!

КАК ПРОЕХАТЬ К ВОЗДУШНОМУ ЗАМКУ

Оказывается, возможно строительство замков
воздушных,
просторных и светлых замков, которые лучше
душных,
которые лучше людных, толкающихся городов.
А если оно возможно, то я поглядеть готов

воздушные замки с птицами, поющими подо мною,
с доступною синевою, с подручною голубизною,
со стенами, утепленными облачным барахлом,
и с окнами, застекленными небом, а не стеклом.

Звезда — рукой достанешь — в каждой оконной
рамел
А улицы между замками, чернеющие вечерами,
краснеющие на рассвете, синеющие днем!
А это низкое небо со всем, что висит на нем:

ракеты междупланетные, минуту назад запущенные
шарики разноцветные, ребятами упущенные,
луна, которую можно гладить просто рукой,
привинченные звезды — они излучают покой.

А тучи, свежей водою до самого края полные!
А мусор воздушных замков сжигают большие
молнии!

А если надо высушить выстиранное белье —
сооружают радугу и вешают на нее!

А как к воздушному замку проехать с нашей
улицы?

Для этого целый вечер надо над сказкой сутулиться,
потом погулять немного, потом покрепче заснуть,
и только глаза закроете — тотчас отправитесь в
путь.

Никто замок не может повесить на этот замок.
Там все ворота настежь — для всех. Для лучших
самых,

но и для самых средних. Любой туда войдет
и голубую комнату немедля себе найдет.



ОТЕЦ

Я помню отца выключающим свет.
Мы все включали, где нужно,
а он ходил за нами и выключал, где можно,
и бормотал неслышно какие-то соображения
о нашей любви к порядку.

Я помню отца читающим наши письма.
Он их поворачивал под такими углами,
как будто они таили скрытые смыслы.
Они таили всегда одно и то же —
шутейные сентенции типа
«здоровье — главное!».
Здоровые,
мы нагло писали это больному,
верящему свято
в то, что здоровье — главное.
Нам оставалось шутить не слишком долго.

Я помню отца, дающего нам образование.
Изгнанный из второго класса
церковноприходского училища

за то, что дерзил священнику,
он требовал, чтобы мы кончали
все университеты.

Не было мешка,
который бы он не поднял,
чтобы облегчить нашу ношу.

Я помню, как я приехал,
вызванный телеграммой,
а он лежал в своей куртке
полувоенного типа
в гробу соснового типа,
и когда его опускали
в могилу обычного типа,
темную и сырую,
я вспомнил его
выключающим свет по всему дому,
разглядывающим наши письма
и дающим нам образование.



Интеллигентнее всех в стране
девятиклассники, десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики
и не забыты еще вполне.

Все измерения для них ясны:
знают, какой глубины и длины
горы страны, озера страны,
реки страны, города страны.

В справочники не приучились лезть,
любят новинки стиха и прозы
и обсуждают Любовь, Честь,
Совість, Долг и другие вопросы.

МОЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Девяносто четвертая полная средняя!
Чем же полная?
Тысячью учеников.
Чем же средняя, если такие прозрения
в ней таились, быть может, для долгих веков!

Мы — ребята рабочей окраины Харькова,
дети наших отцов, слесарей, продавцов,
дети наших усталых и хмурых отцов,
в этой школе учились
и множество всякого
услыхали, познали, увидели в ней.
На уроках, а также и на переменах
рассуждали о сдвигах и о переменах
и решали, что совестливей и верней.

Долгий голод — в начале тридцатых годов,
грозы, те, что позднее над страной разразились;
стойкости
перед лицом голодов
обучили,
в сознании отразились.

Позабыта вся алгебра— вся до нуля,
геометрия— вся, до угла— позабыта,
но политика нас проняла, доняла,
совесть — в сердце стальными гвоздями забита.



БОТИНКИ МАЯКОВСКОГО

Сорок седьмой номер:
Огромные, как сапоги.
К ботинкам Маяковского
Не подобрать ноги.

Ботинки Маяковского
Носить не смог никто.
Кроме того, осталось
Его пальто.

Кроме того, остался
Его пример,
Но больше человеческого
Его размер.

В маленькой квартирке
Маленький музей:
Вещи Маяковского,
Книги его друзей.

Чашечки Маяковского
На полочках стоят.
Сколько меду и яду
Чашечки таят?

Кроме того, ботинки,
Кроме того, пальто.
Чашу Маяковского
Не осушил никто.





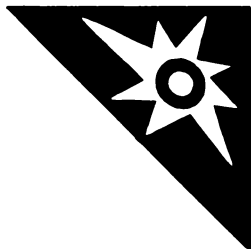
Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок, угроз и прикрас,
Неужели дешевая хворость
Одолела, осилила вас?

Умирают мои старики,
Завещают мне жить очень долго,
Но не дольше, чем нужно по долгу,
По закону строфы и строки.

Слова, слова.

Он знал одну награду:
В том, чтоб словами своего народа
Великое и новое назвать...



Высоко он голову носил.
Высоко-высоко.
Не ходил, а словно восходил,
Словно солнышко с востока.

Рядом с ним я — как сухая палка
Рядом с теплой и живой рукой.
Все равно — не горько и не жалко.
Хорошо! Пускай хоть он такой.

Мне казалось, дружба — это служба.
Друг мой — командирский танк.
Если он прикажет: «Делай так!» —
Я готов был делать так — послушно.

Мне казалось, дружба — это школа.
Я покуда ученик.
Я учусь не очень скоро.
Это потруднее книг.

Всякий раз, как слышу первый гром,
Вспоминаю,
Как он стукнул мне в окно: «Пойдем!» —
Тридцать лет назад в начале мая.

Я перевел стихи про Ильича.
Поэт писал в Тавризе за решеткой.
А после — сдуру или сгоряча —
Судья вписал их в приговор короткий.
Я словно тряпку вынул изо рта —
Тюремный кляп, до самой глотки
вбитый.

И медленно приподнялся убитый,
И вдруг заговорила немота.

Как будто губы я ему отер,
И дал воды, и на ноги поставил:
Он выбился — просветом из-под ставен,
Пробился, как из-под золы костер.

Горит, живет.
Как будто, нем и бледен, не падал он.
И я — не поднимал.
А я сначала только слово —

Ленин

Во всем восточном тексте
понимал.

Я учитель школы для взрослых,
Так оттуда и не уходил —
От предметов точных и грозных,
От доски, что черней чернил.

Даже если стихи слагаю,
Все равно — всегда между строк —
Я историю излагаю,
Только самый последний кусок.

Все писатели — преподаватели.
В педагогах служит поэт.
До конца мы еще не растратили
Свой учительский авторитет.

Мы не просто рифмы нанизывали —
Мы добьемся такой строки,
Чтоб за нами слова записывали
После смены ученики.

«БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

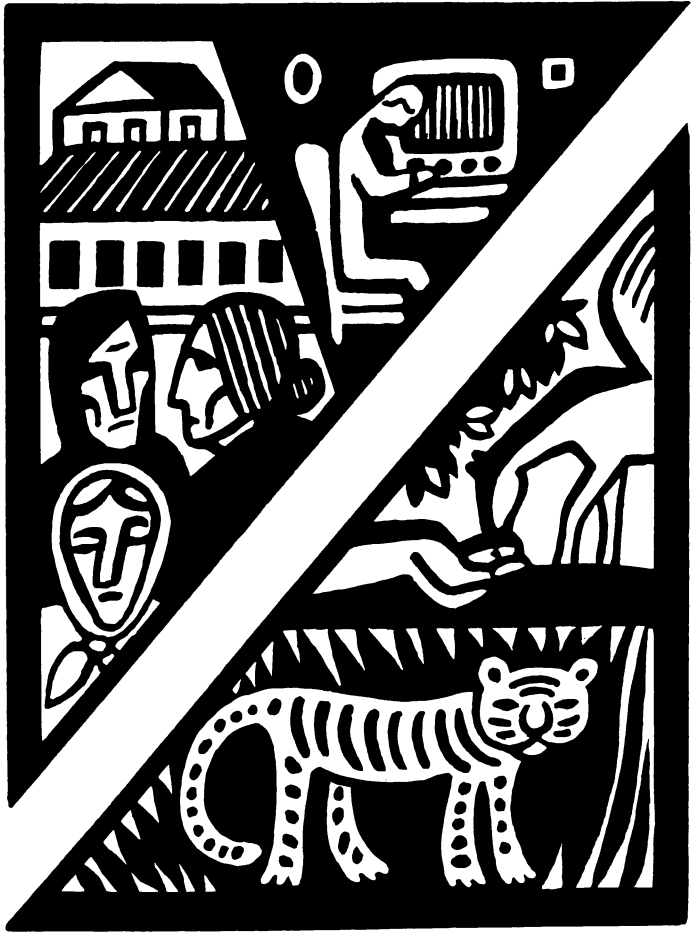
Шел фильм.
И билетерши плакали
Над ним
По восемь раз.
И слезы медленные капали
Из добрых близоруких глаз.

Глазами горькими и грозными
Они смотрели на экран,
А дети стать стремились взрослыми,
Чтоб их пустили на сеанс.

Как много создано и сделано
Под музыки дешевый гром
Из смеси черного и белого
С надеждой, правдой и добром!

Свободу восславляли образы,
Сюжет кричал, как человек,
И пробуждались чувства добрые
В жестокий век,
В двадцатый век.

И милость к падшим призывалась,
И осуждался произвол.
Все вместе это называлось,
Что просто фильм такой пошел.



СТАРУХИ БЕЗ СТАРИКОВ

Вл. Сякину

Старух было много, стариков было
мало:
То, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце.
А старухи, рванув гардеробные дверцы,
Доставали костюм выходной, суконный,
Покупали гроб дорогой, дубовый
И глядели в последний, как лежит
законный,
Прижимая лацкан рукой пудовой.
Постепенно образовались квартиры,
А потом из них слепились кварталы,
Где одни старухи молитвы твердили,
Боялись воров, о смерти болтали.
Они болтали о смерти, словно
Она с ними чай пила ежедневно,
Такая же тощая, как Анна Петровна,
Такая же грустная, как Марья
Андревна.

Вставали рано, словно матросы,
И долго, темные, словно индусы,
Чесали гребнем редкие косы,
Катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
А спать не спали долго-долго,
Катая в мыслях какие-то даты,
Какие-то вехи любви и долга.
И вся их длинная,
Вся горевая,
Вся их радостная,
Вся трудовая —
Вставала в звонах ночного трамвая,
На миг
бессонницы не прерывая.



ДЕЖУРНЕНЬКАЯ

«Дежурненькая, дайте Полюс!»

(Разговор на междугородной)

Дежурная на телефоне,
А мир у ней как на ладони:
Толкнешь ладонью — и слегка,
Как школьный глобус от щелчка,
Закачается
И завращается.
Наверно, весело и лихо
Сквозь голосов неразбериху
Найти Париж, сказать Москве:
«Я — Ялта! Дай минутки две.
Две минутки — это шутки.
Я — Ялта. Дай мне три минутки».
Наверно, хорошо рукою
Ловить пространство, что рекою
Течет сквозь пальцы, но, как рана,
Срастется поздно или рано.
«Я — Ялта! И сто раз на дню
Я вас соединю».

Соединение влюбленных
И пунктов самых отдаленных,
Льда с пламенем и ночи с днем,
За ночью — ночь и день за днем.
Всего разъятого слиянье.
Вот пафос! Вот ее сиянье!
— Дежуренькая! Дайте дали,
Те, что мне час назад не дали.
Соедини, свяжи, сведи,
Как сваха, с миром мир сведи,
Ты человечества отросточек,
Вселенной людный перекресточек!



НА ВЫСТАВКЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Откроются двери, и сразу
Врываешься
 в град мастеров,
Врываешься в царствие глаза,
Глядящего из-под вихров.
Глаз видит
 и пишет, как видит,
А если не выйдет — порвет.
А если удастся и выйдет —
На выставку тут же пошлет.
Там все, что открыто Парижем
За сотню последних годов,
Известно белесым и рыжим
Ребятам
 из детских садов.
Там тайная страсть к зоопарку,
К футболу
 открытая страсть,
Написаны пылко и жарко,

Проявлены
с толком
и всласть.
Правдиво рисуется праздник:
Столица
и спутник над ней.
И много хороших и разных,
Зеленых и красных огней.
Правдиво рисуются войны:
Две бомбы
и город кривой.
А что, разве двух не довольно?
Довольно и хватит с лихвой.
Чтоб снова вот эдак чудесить,
Желания большего нет —
Меняю
на трижды по десять
Все тридцать пережитых лет.



Целый класс читает по складам
Хором. Что-то новое и важное.
Шелестит торжественно бумажное,
Весело душевное поет.
Души формируются отважные,
Зрелость постепенно настает.
Зрелость постепенно наступает,
Словно осторожный командарм,
А откуда целый класс читает,
Целый класс
 читает по складам.

ГЛУХОЙ

В моей квартире живет глухой —
Четыре процента слуха.
Весь шум — и хороший шум
и плохой —
Не лезет в тугое ухо.

Весь шепот мира,
весь шорох мира,
Весь плеск,
и стон,
и шелест мира —
Все то, что слышит наша квартира,
Не слышит глухой из нашей квартиры.
Но раз в неделю,
в субботний вечер,
Сосед включает радиоящик
И слушает музыку,
слушает речи,
Как будто слух у него настоящий.
Он так поворачивает регулятор,
Что шорох мира становится
громом,

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
Наши сладенькие ямбы,
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони...
То-то физики в почете,
То-то лирики в загоне.
Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно.
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие степенно
Отступает в логарифмы.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПОЭТАМ

Отбывайте, ребята, стаж.
Добывайте, ребята, опыт.
В этом доме любой этаж
Только с бою может быть добыт.
Легче хочешь?

Нет, врешь.

Проще, думаешь?

Нет, плоше.

Если что-нибудь даром возьмешь,
Это выйдет себе дороже.

Может быть, ни одной войны
Вам, ребята, пройти не придется.
Трижды

МИР отслужить вы должны:

Как положено,
Как ведется.

Здесь, в стихах, ни лести, ни
подлости,
Недействительна власть.

Как на Северном полюсе:
Ни купить, ни украсть.

У народа нет времени,
Чтобы выслушивать пустяки.
В этом трудность стихотворения
И задача для вашей строки.



Как важно дерево в окне:
не дом, не столб, а ствол древесный
и синий дальний свод небесный —
пусть хоть клочком синеет мне.

Как хороша в окне звезда.
Пусть хоть одна звезда, большая —
и прочь уходят города,
ее пространствам не мешая.

Бывает, молния сверкнет,
перечеркнет квадрат оконный,
и гром, как взрыв мильонотонный,
войну и молодость вернет.

Бывает, смерть прильнет к стеклу,
закат окно окрасит красным.
Неописуемо прекрасно
и просто так —
глядеть во мглу.

Переливание крови

ученые
сначала испытывали на себе.
Ученые проверяли учение
на собственной,
личной,
своей
судьбе.

Если кровь пролилась не туда,
то это

только в твои же вены.

Все естественно, обыкновенно:
твоя ошибка —
твоя же беда.

Мне с детства по сердцу был, по нраву
мир,

где царило двойное право:
право труда и право таланта,
где можно было считать и мерить
и только подсчитанному верить, —
мир

чистого, словно совесть, халата.
Точный мир, естественный мир,
мне издавна дорог был и мил.

ГУЛ НАД ГОРОДОМ

Гул над городом, над городским
шумом, шорохом, рокотом.
Угловатые крылья раскинул
гул над городом.

Звуки, те, что полегче воздуха,
поднимаются в небеса.
Звуки, что тяжелее воздуха,
оседают, как роса.

Песни долго плавают в сини —
звезды после людей их поют,
а гудки
 дождями косыми
в землю бьют.

К шуршанью шин на шоссе — привыкли.
К гулу гудка на углу — привыкли.
Обычен голос автомобиля,
а тайну, скрытую в нем, — забыли.
Фильм Довженко, где трактор, первый,
входит в село, — почти непонятен.
В норму пришли усталые нервы.
В душе от техники нету вмятин.
Мы нажимаем какие-то кнопки.
Мы включаем какие-то тайны.
При этом поеживаться знобко
от необычайности
мы не станем.

ДОБРОЕ СЛОВО

От слова незлого,
от доброго слова,
развеялось горе,
словно полова,
а слово-то было в два слога всего.
В два слога коротких, и кротких, и кратких,
и вдруг доброта воспиталась на грядках,
взошла среди зла и несчастья всего.

Надежней и крепче не надо заслона.
От острого счастья я млел и шалел.
А все потому,
что кто-то два слова,
а в каждом два слога,
не пожалел.

ПОДМОСКОВЬЕ

Еще голову на плечо положив
пассажирке своей по привычке,
трехминутным сном заснул пассажир
в электричке.

Еще справа Юго-Запад плывет,
а неназванные микрорайоны слева,
и все это Подмосковьем слывет
и еще горячо с лета.

Еще выбегут через две остановки цветы
и грибы — через пять остановок
и высоты неслыханной высоты
на своих повиснут стоногах.

А потом — голубизна, синева ль
над зеленым в желтых пятнах.
А потом всесоюзный пойдет сеновал:
август месяц,

так что понятно.

И Москва перельется в Россию, как
Москва-река в Волгу с Окою,
и пойдет все иное и все не такое,
и писать об этом придется не так.

УЧЕБНАЯ МУЗЫКА

Когда я слышу гаммы за стеной,
мирюсь с разодранною тишиной.
Я знаю: эти гаммы — признак счастья.
Тот мученик, что к фортепьяно сел,
спал с вечера, с утра поел.
Пускай долбает клавиши почаще.

Ничто с такой прекрасной полнотой
не выражает улучшенья жизни,
как этот звук настырный и простой.
Звучи же!
Из любого дома брызни!

Излишество?
Колоннами его
символизируют и выражают.
Колонны пусть чернят и разрушают.

Но музыки учебной вещество,
сочащееся из-под каждой рамы,
точней, чем экскаваторы и краны,
передает строительный размах,
все время нарастающий в домах.



НОЧНОЙ ФУТБОЛ В МУРМАНСКЕ

Сон — покой, идеальный порядок.

Сон похож на средневековье.

Сон — равнение на парадах

с плавно

в жилах

плывущей

кровью.

Я проснулся от точного чувства

беспорядка и покоя.

Вспомнил — в Мурманске я. Очнулся.

Посмотрел в окно: что такое?

Было два часа ночи. Было
очень поздно, и страшно было.

Серый свет, нет, сероватый,
заливал простор сыроватый,
затоплял собой котловину,
род естественного котлована,
тот, где город стоит. Лавина
света Мурманск весь заливала.

Я подумал: в месяце мае
в Заполярье — белые ночи.

Очень просто. Можно ложиться.

Дело было не так уж просто:
под окном в два часа ночи

футболисты детского роста
мяч гоняли что было мочи.

На,

как Красная площадь,

огромной,

площади, очень ровной и точной,
словно дуб среди долины ровной,
рос футбол, шел матч полуночный.

Мяч взлетал, и матч продолжался.

Дети знали: дремлют в отеле.

Матч подальше от окон жался:

разбудить меня не хотели.

Темноватой земли отростки,

бледноватые были дети,

но играли в футбол подростки
здесь, как и повсюду на свете.

Несмотря ни на что: на то, что
полюс Северный очень близко
и зеленого мало кошту

(витамины — лук да редиска) —

продолжался матч полуночный
на площадке, солнцем багримой,

и удар был сильный и точный

и защита — необоримой.

Я, уставший после дороги,

не хотел от окна оторваться:

высоки были эти отроги

человечьего доброго братства.

СВЕТЛЫЕ ОКНА

Рай боттичеллиев — зал гимнастический;
десятиклассницы с влагой гностической
в темных и светлых прекрасных глазах —
с ветки на ветку,
как птицы в лесах!

С ветки на ветку,
с бруса на брус
в темных и светлых костюмах спортивных!
Рай молодых и активных. Спортивных.
Как он блондинист, брюнетист и рус!

Здесь не веселье, а счастье.
Не сила —
счастье. И счастье, а не красота.
То, что Икара под солнце носило,
то, что хоралы пело с листа.
Тени прекрасно скользят по стене,
в ритме блаженства движется тело
бремени — вне,
времени — вне,
вот не взлетело оно — взлетело!

Вот воспарило оно до небес!
Вот оно кануло наземь
и сразу
падает к небу тяжести без,
огненно чертит во тьме свою трассу!
Видимо, люди летали всегда,
до изобретенья аэроплана.
В этом сплетенье тел и таланта
горе — не горе,
беда — не беда.

Молча у окон сияющих стану.
Из глуби воспоминаний достану
дом во Флоренции.
Я молодой
пялю глаза на «Весну» Боттичелли.
Я молодой, незнакомый с бедой!
Есть ли на свете беда, в самом деле?

Нет ничего, кроме «Весны».
Резкою явью становятся сны.



ЮГО-ЗАПАД

**Ласточка стукнула клювом в окно.
Этого ты не увидишь в кино.**

**Комната вся в сигаретных дымах —
форточек нету в новых домах.**

**Быстрые лифты и низкие стены
и облаков пролетающих тени.**

**Все-таки дышится очень легко.
Все-таки здорово жить высоко.**

ЛЕТНИЙ ДОЖДИК

Дождь короткий, зажатый жарой,
словно церковь — домами высотными!
Пчел прозрачных стремительный рой
жужжанул над мальцами веселыми!
Пыль смочил
и с носов
пудру смыл,
в городские газоны вломился,
листья наполовину отмыл
и куда-то немедленно смылся!

КОНИ С КОНЗАВОДА

**Кони с конзавода —
чуть правее заката.
Справа солнце.
Слева речка.**

**Белые жеребята
скачут у поворота
речки на запад.
Вдруг они чуют запах:**

**это лось проходит.
Он проходит рядом.
Он табун обводит
понимающим взглядом.**

КИНОГОРОД

Из фанеры сработан с холстиной
киногород.

Почти паутинной
легкости.
Почти мотыльковой
долговечности.
Пустяковый,
кружевной, эфемерный, эфирный —
кратковременного употребления.

Есть в его обреченности смирной
грациозность почти оленья.

Что бывает с киногородами?
Кто их легкие жизни отнимет,
когда дни они докоротали,
когда их оператор отснимет?
Сколько Римов и сколько Греций
на экранах стоит упрямо?
Кто приходит глазеть и греться,
если жгут их фанерный мрамор?

Сколько готик
и сколько Аттик
быстро выстроилось,
окрепло,
чтобы превратиться
в квадратик
пленки
и потом в кучку пепла.

Киногород свои миражи
ловко вписывает в пейзажи.
Он шумит своей съемочной группой.
Он блистает прожекторами.
А потом его вычеркнут грубо,
словно слово из телеграммы.

Вы, артисты,
и вы, статисты,
разыграйте без спора и ссоры,
воплотите точно и чисто
дивный замысел режиссера.

Осветители! Свет поставьте!
Звук, звуковики, включите!
У тумана, у супостата,
солнце
на целый день
получите!

Как геометрию — гуманитарий
(не понадобится никогда),
бури, все, что налетали,
позабуду без труда.

Но как грамоту геометры
(без нее нельзя никуда),
счастье — вплоть до миллиметра —
не забуду никогда.

Самолеты порют парусину неба.
Распорют, стихнут, снова распорют
и снова стихнут.
Эта парусина, верно, вся в распорах,
и сквозь них на землю
сыплются ночами
неловкие звезды.

Ласточки. Листочки
ласточек в лазури.
Ласточкой, как кисточкой,
небеса лизнули.
Легче легкости,
слаще ласковости,
тише робости —
след ласточки.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Огнев. Борис Слуцкий	3
Памятник	9
Сон	12
Десант	14
Военный уют	16
Старший лейтенант	18
«Есть!»	19
В батальоне выздоравливающих	20
Гора	22
Военный рассвет	24
Как меня принимали в партию	26
Кельнская яма	28
Писаря	31
Мои товарищи	34
Задача	35
Роман Толстого	37
Лошади в океане	39
Кропотово	41
Казахи под Можайском	42
Переправа	44
Замполит	46
О погоде	48
Итальянец	51
Однофамилец	55
Слава саперов	57
«Я говорил от имени России. . .»	58
Маршал Толбухин	60

Девятого мая 1945 года	62
День Победы в Альпах	63
«Высоченный, словно высеченный из высоты. . .»	66
Рабочая песня	68
Мальчишки	70
Память	72
Баня	74
«Вот вам село обыкновенное. . .»	77
Перерыв	79
Подводная лодка №...	81
«Столица нашей Родины — Москва. . .»	83
Послевоенное беспитчие	84
Засуха	85
В деревне	88
Гудки	89
Летом	91
Медные деньги	94
18 лет	96
Второй этаж	98
Школа для взрослых	100
«Тушат свет и выключают звуки. . .»	102
Елка	104
Линии железных дорог	106
Как проехать к воздушному замку	107
Отец	109
«Интеллигентнее всех в стране. . .»	111
Моя средняя школа	112
Ботинки Маяковского	114
«Умирают мои старики. . .»	117
М. В. Кульчицкий	118
«Высоко он голову носил. . .»	120
«Я перевел стихи про Ильича. . .»	121
«Я учитель школы для взрослых. . .»	122
«Броненосец «Потемкин»	123

Старухи без стариков	125
Дежуренькая	127
На выставке детских рисунков	129
«Целый класс читает по складам. . .»	131
Глухой	132
Физики и лирики	134
Советы начинающим поэтам	135
«Как важно дерево в окне. . .»	137
«Переливание крови ученые. . .»	138
Гул над городом	139
«К шуршанью шин на шоссе — привыкли. . .»	140
Доброе слово	141
Подмосковье	142
Учебная музыка	143
Ночной футбол в Мурманске	145
Светлые окна	147
Юго-запад	149
Летний дождик	150
Кони с конзавода	151
Киногород	152
«Как геометрию — гуманитарий. . .»	154
«Самолеты порют парусину неба. . .»	155
«Ласточки. Листочки. . .»	156



Для старшего возраста

Борис Абрамович Слуцкий
ВРЕМЯ МОИХ РОВЕСНИКОВ

Стихотворения

ИБ №1093

Ответственный редактор
Г. В. Быстрова

Художественный редактор
А. Б. Сапрыгина

Технический редактор
Г. Е. Гафт

Корректоры

Э. Л. Лофенфельд
и Г. В. Русакова

Сдано в набор 10/VI 1977 г. Подписано к печати 26/IX 1977 г. Формат 70X108^{1/32}. Бум. офс. № 1. Печ. л. 5. Усл. печ. л. 7. Уч.-изд. л. 4, 31. Тираж 50 000 экз. А 03924. Заказ № 388. Цена 40 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглаволиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

Слуцкий Б. А.

С 49 **Время моих ровесников. Стихотворения.**
Рис. В. Андреевкова. М., «Дет. лит.», 1977.

159с. с ил.

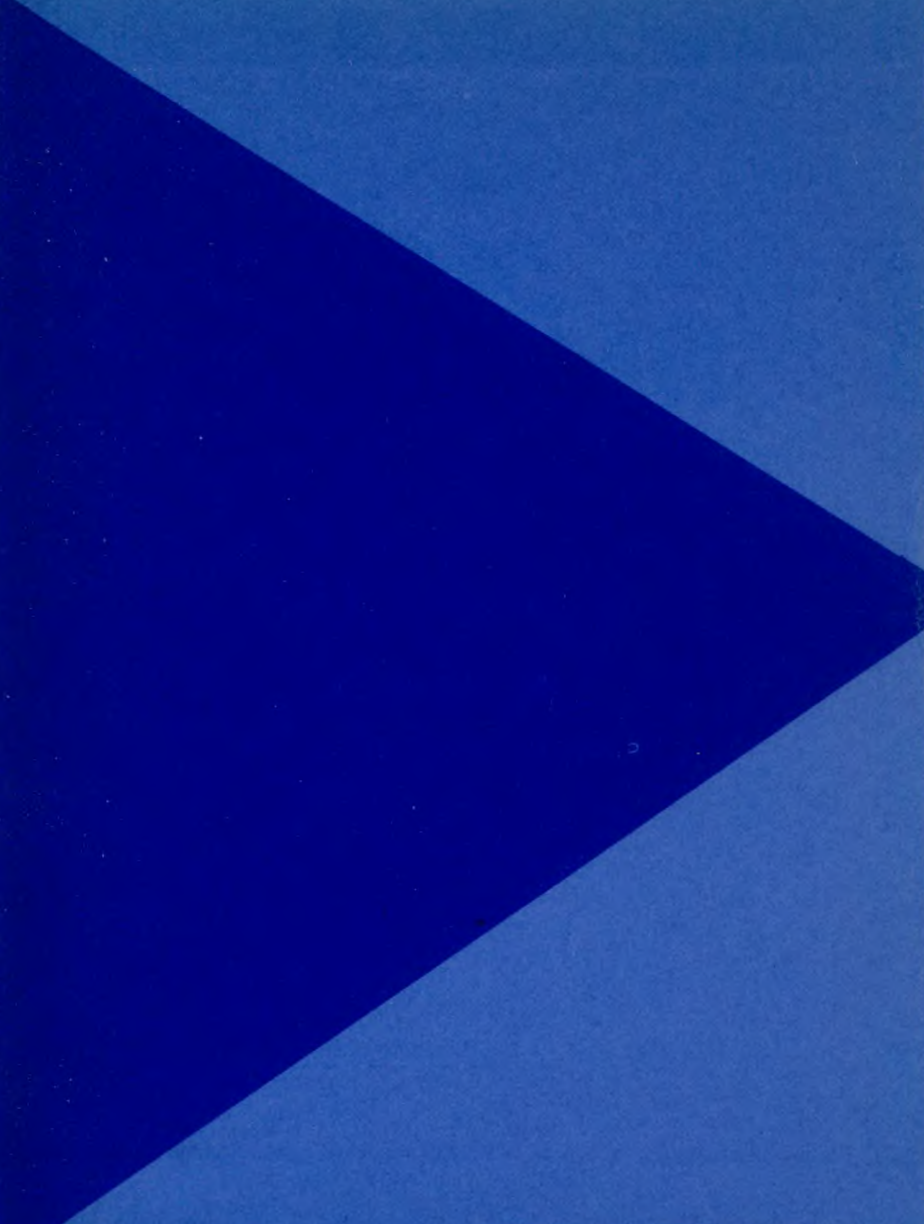
В сборник вошли избранные стихи советского поэта. Вступительная статья написана Владимиром Огневым.

P2

70803—502

С—————274—77

M101(03)77



40 wert.